

Михаил СМИРНОВ

## ДУХОВО БОЛОТО

Вороны кружились над двором. Невысокая худенькая Зинаида в тёмном платье, кофте с подвернутыми рукавами, поверх безрукавка, на голове лямная косынка, угрозила кулаком, нахмурилась, взглянув на множество птиц, которые метались над деревней, что-то забормотала под нос, громыхнула тазом и принялась быстро развешивать белье на веревке, натянутой посреди двора. Расправила последнюю наволочку, резко стряхнула, словно из ружья выстрелила, и вороны бросились прочь от звука, а потом снова кружились над ней. Зинаида взглянула на ворон, сдернула с забора две тряпки и направилась в избу. И тут же присела, прикрывая голову руками. Вскрикнула. Ворона, едва не вцепившись в косынку, громко закартавила, всполошенно замала крыльями и пронеслась над головой. Следом за ней затрещала крыльями другая, атакуя Зинаиду. Отмахиваясь тряпками, она взбежала на крыльцо, теряя галоши, и торопливо юркнула на веранду. Лохматая небольшая собака взвизгнула, когда вороны набросились на нее, тоненько и протяжно завывала и осеклась, испугавшись хозяйку, когда та выскочила с сапогом на крыльцо и, размахнувшись, бросила в нее. Собака поджала хвост, быстро шмыгнула в старую конуру, спряталась в глубине и снова протяжно и тоскливо завывала.

— Опять вороны стаи над деревней кружат. Не к добру появились. Не иначе, беду на крыльях принесут, — Зинаида мелко перекрестилась. — Господи, помоги! Отведи беду от нашего дома!

Она поставила таз на табуретку, бросила тряпки на лавку, где стоял большой бидон. Рядом с ним примостилась пестрая кошка. Зинаида хлопнула дверью, зашла в избу, продолжая охатить и причитать, заглянула в горницу и тут же принялась ругаться.

В полутемной горнице её муж Матвей распахнул створки шкафа, стоявшего в углу, опустился на колени и принялся с полок вываливать тряпье, разгребал его, чертыхался и отбрасывал в сторону и снова скрывался в шкафу, опустошая полки. Потом поднялся. Стащил со шкафа два огромных узла, развязал и вновь стал перетряхивать вещи, что-то выискивая.

— Ну, ты глянь на него, — всплеснула руками Зинаида и закачала головой, взглянув на вещи, валяющиеся на полу. — Не успела на двор выйти, чтобы белье развесить, а он соскочил и устроил настоящий погром в избе. Ты же спал, зараза этакая. Храпел, аж стены дрожали. Зачем поднялся? Вон какая непогодь на улице. В такую погоду только спать и спать, а ты соскочил. Теперь будешь всю ночь из угла в угол ходить. Сам не спишь и мне покоя не дашь. Что ищешь в шкафу? Мало выпил за обедом? Решил поискать, пока я отлучилась. Я же наливала тебе. Хватит. И не ройся в вещах, всё равно не найдешь. Как на духу говорю. Не шарься. Я весь запас по соседям разнесла. Не ищи, повторяю, там ничего нет! И хватит вещи разбрасывать. Иначе в следующий раз тебя заставлю стирать, — и нахмурилась, встала перед ним, руки в боки.

— Отстань со своими бутылками! — не поднимая головы, рявкнул Матвей, продолжая копаться. — Если захочу, всегда найду выпивку, — и тут же взглянул на жену. — Слышь, Зинка, куда запрятала новые тапки, ну, те, что наша Валька привозила для меня? Помню, где-то видел, всё перерыл, а они запропалились. Куда убрала? — он снова посмотрел на жену.

— А тебе-то зачем? — удивленно спросила Зинаида. — Ты же заявил, что в избе привык босиком ходить, а по улице в тапках не ходят. И махнул рукой, что тапочки — это баловство и не более того. Я и того... — и подозрительно так: — А для чего ищешь? В окошко видела, что ты с Игнатом Гороховым стоял на улице. Всё наговориться не могли. Разойдутся в разные стороны и снова сходятся, опять начинают языками трепать, как бабы базарные. Ему пообещал? Не иначе, на бутылку сменяешь. Ты бы лучше с ним договорился, чтобы солону привезти да в лес съездить. Говорят, зима суровой будет, а у нас дров в этом году — кот наплакал. Хороший мужик в дом тащит, а ты из дома. Глади

у меня... Сразу кочерёжкой прогуляюсь по хребтине, а потом все руки поотшибаю, что нажитое добро разбазариваешь. Не тобой положено, не тебе брать. Гляди, дважды не стану повторять. Ты меня знаешь... — и, грозно сдвинув бровки, погрозила пальцем.

— Ты, Зинка, не придумывай, — буркнул Матвей, вытащил ещё одну охапку тряпья и стал расшвыривать. — Пока ты постирушками занималась и бельё развешивала на дворе, мне батя приснился. Аж сердце затрепыхалось и воздуха не стало хватать, когда его увидел. Он стоит и смотрит на меня, аж мурашки по мне забегали, а потом велел принести ему другую обувь. Говорит, что ботинки жмут. Все ноги посбивал. Велел, чтобы я принёс посвободнее да помягче обувь, если такая есть. Я стал отнекиваться, мол, где взять её — эту обувь, сам в кирзачах хожу, а потом вспомнил, что мне тапки подарили. Удобные, мягкие. Дай, думаю, отнесу. Всё равно без дела валяются. Тапки — это обувь не для деревни. В тапках только по городу форсить или в домовину класть — милое дело, а по деревенской улице ходить, так никаких денег не напасёшься на них.

Зинаида ойкнула, прижала руки ко рту и невольно оглянулась на окошко, где в воздухе продолжали кружиться вороны, а некоторые помчались в сторону дальнего леса, где находилось Духово болото, над которым было черным-черно от вороньих стай...

— Отца видел и даже говорил с ним? — запнулась Зинаида. — Уж сколько лет прошло, как на мазарки снесли, он ни разочка во сне не приходил, а нынче приснился? И другую обувь попросил? Аж на душе заскребло, как ты сказал... — и, взглянув на икону, торопливо перекрестилась.

— Да, велел другую обувь принести. Я сразу говорил вам, когда он помер, что для него маленькие ботинки приготовили, у него ножища-то здоровенная была, а вы заупрямились. Не выбрасывать же, за них деньги плочены... — передразнил Матвей. — Ёле ноги в ботинки всунули, когда в смертную одежду одевали, а теперь напомнил о себе. Вот так стоял передо мной и смотрел, а сам хмурился, брови сдвинул, потом сказал про обувь и к себе позвал. Мол, приходи, Матюха, я жду тебя. Глянь, Зинка, вот так меня звал, — и Матвей медленно помахал рукой.

— Ой, Божечка, беда пришла, — зашептала Зинаида и взглянула на мужа. — И ты согласился? Надо было сказать, чтобы не звал к себе, что ты еще не все дела переделал. А когда освободишься и настанет твое время, сам придешь. А то вон как у Ленки Малюева получилось. Тоже батя приснился. К себе позвал. Ленка пообещал, что придет. И что ты думаешь, через неделю на машине разбился. Встретился с отцом. А еще говорят...

— Хватит придумывать, — перебил Матвей и пожал плечами. — Это же отец. Сама знаешь, его слово — закон для всех, — и тут же нахмурился. — Ты, Зинка, не трепли языком, а лучше делом займись. Куда упрягала тапки, что дочка привезла? Выгаскивай. Я бате отнесу, пока на улице не стемнело. Он ждет...

— А зачем ему сказал, что тапки есть? Мог бы соврать, чтобы к нему не ходить. Сказал бы, что заболел, ну, чтобы не тащиться на Духово болото, а ты... — она сокрушённо качала головой. — Что говоришь? А, тапки... Так это... — Зинаида дёрнула головой, запнувшись, и неопределённо махнула рукой. — Там они... Там тапки лежат.

— Вот поднимись и иди за ними, — заворчал Матвей и ткнул пальцем в половицу. — Живо принесла! Сидит, языком молотит. Батя ждать не любит. Сама знаешь. Да и мне нужно поторопиться, чтобы темной ночью не возвращаться.

Жена недовольно забубнила, когда Матвей поднялся и, не глядя под ноги, наступая на разбросанные вещи, направился к столу. Зинаида поглядела на него, а потом опустилась на лавку возле окна и мелко перекрестилась.

— Слышь, Матюша, может, почудилось, что к себе зовет? — прикрывая рот ладошкой, сказала Зинаида, раскачиваясь на лавке. — Мало ли что приснится, тем более стопочку-другую опрокинул. На душе захорошело. Заспал, вот и померещилось... Пока ты храпел, я на двор выходила. Едва с крыльца спустилась, как на меня вороны налетели, чуть было не заклевали, пока бельё развешивала, а потом наша собака завyla, зараза такая. Тоненько так, с подвыванием, аж на душе нехорошо стало. Сапогом в неё кинула. Промажулась. В соседский огород улетел. Потом схожу, заберу. Я сердцем почуяла, что беда крадется, когда вороны налетели. Уж молитвы читала, Боженку просила, чтобы напасть от дома отвел, — прыгая с пятого на десятое, она поправила выбившуюся прядку волос из-под косынки, застегнула, а потом снова расстегнула верхнюю пуговку на кофте, а сама сидела, разглаживая руками невидимые складки на юбке, и всё горестно покачивала головой. — Глянь, столько лет твой батя не снился. Помер-то, когда молодыми были, а сейчас у самих дочка взрослая, того и гляди, внуком одарит. И вот тебе батя огорошил — приснился, да ещё к себе позвал. Слышь, Матюш, а каким его видел — молодой батя или изменился? Да неужто? — она всплеснула руками. — Ох, не к добру это! И правда, никуда не денешься — это батя и его нужно слушать, даже если он помер. Зря не приснится. Матюша, ты в Духово болото не суйся. Сгинешь. Не зря

же народ говорит, что туда нельзя заходить, тёмную силу можешь разбудить, и тогда всё — вмиг пропадёшь. Вон, вспомни, сколько людей исчезло. Слух был, что они хотели на остров перебраться, и ни один оттуда не вышел. Сгинули. А охотники пропадали, а бабы, что за ягодой ходили и исчезли. Это Духово болото забрало. Я, когда беременная была, тоже ходила туда, на камне узелок оставила. Хотела, чтобы роды легкими были. И правда, легко дочку родила. Глазом моргнуть не успела, как разродилась. И я не болела, и дочка здоровенькой росла. Люди же зря не станут говорить про Духово болото. Значит, в нем сила огромная заключена. И если ты пришел с добром к нему, оно добром ответит, а если с плохими мыслями появишься, значит, злые силы разбудишь. Но, Матвей, не забывай, в болото не заступай, иначе беду за собой приведешь, — замолчала, о чем-то задумавшись, а потом продолжила: — Ты по тропке доберешься до него, осмотришь и увидишь большой камень, что в землю врос. Сразу его узнаешь. Прямо как наш стол, а может, и поболее. С краешку на него положи коробку с подношениями и уходи, не оглядываясь. Иначе беду за собой приведёшь. Матюша, я, кроме тапок, носки шерстяные положу, ну и по мелочи, пачку-другую папиросок, спички, конфеток да печенья. Ну, так, на всякий случай. Как принято у людей... Ох, на душе тревожно, аж каждая поджилочка трясётся...

Сказала, а у самой плечики задрожали, и Зинаида незаметно смахнула слезу, нахмурилась и посмотрела на мужа. Неслышно поднялась, метнулась к комоду, покопалась в нём, достала шерстяные носки, новые, к зиме связала. Положила на стол и заторопилась на веранду. Вернулась, держа в руках обувную коробку. Открыла, поглядела на синие тапочки и вздохнула — жалко всё же, а потом сунула туда носки, сигареты, горсточку конфет, несколько печенюшек, про спички не забыла — тоже сунула, потом закрыла коробку и бечёвкой крест-накрест перетянула её, чтобы по дороге не растеряла.

— Всё, Матвей, приготовила, — опять закачала головой Зинаида. — Ты уж поосторожнее. Не вздумай в болото сунуться. Сгинешь. С краешку, с краешку оставь... Погоди-ка, на дорожку опрокинь стопочку. Как зачем? Ну, так, на всякий случай. Мало ли... — и завздохала. Вышла на веранду. Было слышно, чем-то гремела, потом вернулась, держа в руках запылённую бутылку, налила стопку и протянула. — Выпей, Матюш, всё не так страшно будет. Ну, а ежели хочешь, можешь и вторую налить. Всё веселее на душе станет... — сказала и снова завздохала, исподтишка поглядывая в сторону тёмного леса.

Матвей взглянул на неё исподлобья. Опрокинул стопку. Отмахнулся от закуски. Мотнул головой, закричал и утёрся рукавом. Потом взял коробку, зачем-то потряс её и прислушался, хмыкнул, пожимая плечами, — впервые приходится идти к Духову болоту с подношениями. Сдёрнул с гвоздя засаленную фуражку. Натянул сапоги, приотпнул. В такую непогоду сапоги — милое дело. Опять взглянул на Зинаиду, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и вышел во двор.

Едва захлопнулась дверь, Зинаида сунула бутылку в угол, сдернула с вешалки кафавейку и выскочила следом, но заметив мужа возле калитки, запнулась на крыльце, не ожидая его увидеть, потопталась, раздумывая, а потом вернулась в дом и метнулась к окну, раздвинула занавески и прикинула к грязному стеклу, наблюдая за Матвеем, а сама что-то нащёптывала...

Тучи над деревней: низкие, тёмные, мрачные. Разбитая извилистая дорога, вся в рытвинах. По краю разлохматился репейник, чуть ли не в рост человека, и татарник ошетинился колючками, не дай Бог дотронешься, потом замучаешься вытаскивать. Промелькнула кошка, припадая к мокрой земле и исчезла в зарослях. Над домом тревожно картавят вороны, то взмывают, то снова садятся на дерево, что стояло возле двора, или начинали кружить над домом. Замерла деревня. Никого не видно. Глухие заборы, калитки на запорах, плотно закрыты ворота. Изредка собака завоет и тут же умолкает. Себя боится. На душе тоскливо. Тучи давят, к земле прижимают. Ветрено, сыро, зябко — беспокойно.

Опять завздохала Зинаида.

— Чует моё сердце, не к добру приснился батя, — продолжая поглядывать в мутное окошко, забормотала она. — А я голову изломала, с чего это Матюшка в последние дни захандрил. Вида не подаёт, а все дела забросил. Даже от рюмки отказывался. То возле двора стоит. Каждого останавливал, кто мимо проходил, и подолгу разговаривал, словно наговориться хотел, а сам по сторонам поглядывал, не идет ли кто? А домой возвращается и сразу на кровать. Лежит и в окошко посматривает, словно кого-то ждал. А тут на тебе — батя во сне появился. Мало того, что обувь попросил, так еще к себе зовет. Вот откуда нужно ждать беду. Не зря вороны кружат над избой, да ещё Жучка завyla, сволота этакая. И опять над Духовым болотом от вороньих стай черным-черно стало. Когда они собираются там, всегда жди несчастье. Ох, Божечка мой! Как же эту напасть

отвести от избы-то?

Зинаида вскочила с лавки, взглянула на образа, мелко перекрестилась, шепча под нос, прошмыгнула в заднюю избу и принялась хлопать дверками стола, а потом снова вернулась, склонилась возле этажерки и стала перебирать книжки, потом схватила молитвенник, открыла его, долго шерстела потрепанными страницами и начала читать, то и дело осеняя себя крестом.

Матвей потуже запахнул фуфайку. Промозглый ветер, осенний. Потёр ладонью уши. Вроде до морозов ещё далековато, а уши стали замерзать. К чему, а? Поправил коробку под мышкой. Закурил. Посмотрел на далёкий тёмный лес, который едва виднелся в мелкой мороси. Оглянулся по сторонам. Никого. Матвей опять потёр уши. Задумавшись, мотнул головой, вспоминая Духово болото. Наверное, когда его снесут на мазарки, другие так и будут ходить к Духову болоту и будут носить свёрточки да коробки. Так было принято. Давно принято. Не одно поколение ходило и будет ходить к нему с подношениями. Конечно, можно было посмеяться над этими предрассудками, а вот нужно ли это делать — он не знал. Лучше придерживаться обычаев, как принято здесь, а то натворишь делов, что не разгребешь.

Матвей взглянул на деревню. Дорога матово поблёскивала от холодной мороси. Везде серые лужи, того и гляди, ненароком ступишь в какую-нибудь. Тяжёлые облака. Там, вдалеке тёмные тучи словно цепляются краями за крыши домов да изгороди. Всё потонуло в серой дымке. Зябко, тоскливо. Матвей передёрнул плечами. В палисадниках сиротливо стоят сирень да бузина, а в некоторых яблоньки-дички виднеются да пяток берёз разбросаны по деревне — кроны в сорочьих гнёздах. Тёмные глухие заборы, почти возле каждого двора стоят скамейки. Летом хорошо сидеть возле двора. А сейчас они намокли, доски набухли от дождя, казалось, ткни пальцем и появится вода. Повсюду зелень на черных поверхностях. И по низу заборов зелень виднеется — это мох ползёт. Не успеешь оглянуться, всё мхом затынет: камни, деревья, заборы и избы — всю округу. Неподалёку протяжно завывала собака и тут же смолкла от сердитого окрика. Следом вторая собака откликнулась. Жалобно завывала, тоскливо. А там ещё одна отозвалась, и сразу на душе заскребло... Не ко времени собаки завывали, не к добру...

Матвей чертыхнулся. Казалось, всего полжизни прожито, а в приметы верит, словно древняя старуха. Он нахмурился, сдвинул фуражку на глаза и пошёл по обочине, по увядшей траве, всё не так скользко, как на дороге, и в лужу не попадёшь. А как тут не поверишь в эти самые приметы, если вся округа в них верит с давних времен. Правду Зинаида говорила, что люди пропадали. Охотники или бабы за ягодами пойдут, забредут к Духову болоту и не возвращаются. Искали, а как же, но ни одного не нашли. Исчезли. А были такие, кто пытался на остров перебраться, чтобы сокровища поискать, — это уж точно верная смерть. Не зря темные силы берегут разбойничье добро. Никому не дается в руки. Да и найдут ли — это никому неведомо...

Местные жители давно заприметили: если над дальним лесом начинали кружить вороньи стаи — это к беде. И в такое время старались не ходить к Духову болоту, чтобы беду не накликают. И сегодня вороньи стаи кружатся, а ему нужно попасть к Духову болоту, потому что отцу пообещал, что придет. Такие дела в долгий ящик не откладывают. Все, кто видит предков во сне, сразу собирают узелки и торопятся к Духову болоту, чтобы подношение оставить. И ему пришлось пойти. Авось пронесет и ничего худого в дом не притащит за собой.

Матвей верил в приметы. Он шагал по тропинке и вспоминал, как по весне Колька Малинин вышел ко двору, соседям стал сон рассказывать, будто грязную воду увидел и себя в какой-то канаве или яме — он не разобрал. Говорили ему, чтобы узелок собрал и к болоту отнёс, а Колька Малинин отмахнулся — не верю, а может, пожадничал. Ну и что, а то, что к вечеру в соседнюю деревню потащился через речку и ухнул в промоину, только одна шапка осталась на снегу. Вот тебе и грязная вода, вот тебе и канава с ямой... Две бабы из соседнего села забрели на болото, собирая ягоды и исчезли. А сколько за долгие годы пропало охотников — этих не счесть. И всё равно идут, надеясь, что с ними ничего не случится, но не все возвращаются... А батя покойный рассказывал, как решил срезать путь, когда возвращался из соседнего села, до которого всего было десять километров. Отец отправился через лес, чтобы быстрее до дома добраться. И заблудился. Казалось, до дома рукой подать, а он потерялся в лесу. Куда ни сунется, везде бурелом и лес стеной стоит. Хотел обратно вернуться и снова оказался в непроходимой чаще. Целую неделю без еды и воды блукал по лесу. Думал, под деревом помрёт. Лежал, ни рукой, ни ногой не мог шевельнуть, а в мыслях сказал, если выберется, сразу гостинчик для Духова болота отнесёт. И тотчас почувал, будто сила прибавилась. Поднялся, разлепил глаза, искусанные мошкой, огляделся и видит, а места-то знакомые. И пошёл по лесу, пошёл, словно кто дорогу указывал... К вечеру выбрался. Домой вернулся, а дома-то уж и не чаяли его в живых увидеть. Кожа да кости остались. Мать сразу же узелок

собрала, и он, не отдохнув, направился к болоту. Так и спасся... А Танька Егоркина, когда на сносях была, пошла к болоту, а узелок позабыла, и её... Матвей чертыхнулся. О, чего только не передумаешь, пока до Духова болота доберёшься...

Уж никто не помнил, с каких пор люди стали ходить к Духову болоту. Нет, не в само болото, а к каменному столу, что на краю стоял. Всегда было так, если лето выдавалось сухим и начинали полыхать пожары или скотинка начинала гибнуть непонятно от чего, а то градом весь урожай перемесит, и не дай бог, если люди начинали болеть и умирать в селениях, тогда сразу по деревням шушок проползал, что кто-то тёмную силу разбудил, что в том болоте таилась, а она за это мстит людям, что её потревожили. Говорили, будто силы огромные в этом болоте таятся, как добрые, так и злые. Всё зависит от человека, с чем туда придёт...

К Духову болоту ходили со всеми бедами и радостями. Особенно если рождались ребятишки, и тогда шли к болоту, чтобы попросить у духов здоровья для детей. Когда свадьбы играли, и молодые торопились туда, чтобы положить узелок на хорошую жизнь. Люди шли к Духову болоту. Относили гостинчик. Остановивались на краю болота, но вглубь не совались — боялись, а вот гостинчики складывали на большой камень, что возле болота лежал, и говорили, с чем пришли, что они хотят. Поят, а потом, не оглядываясь, возвращались в деревню. И подношения исчезали. Значит, болото приняло дары. А бывало, узелки оставались нетронутыми, и тогда лесные птицы с воронами растаскивали дары. Но в то же время у людей, чьи узелки растеребили вороны, почему-то происходили несчастья. Значит, гостинчик не приняло болото и отдало воронью, а почему такое случалось, никто не знал.

Матвей с малых лет знал, что к Духову болоту опасно ходить. На своей шкуре испытал, когда с мальчишками сбегал туда, чтобы разыскать исчезнувшие сокровища. Родители говорили, будто в стародавние времена на острове, что был среди болота, в небольшой избушке жил отшельник, а может, бродяга — кто его знает, а потом туда добрались лихие люди. Расправились с отшельником, распяли его на огромном камне, что лежал возле болота, железные клинья в руки и ноги вбили, так и оставили помирать, а сами расположились в его избушке. Грабежами занимались и убийствами. Много невинных душ погубили и утопили в болоте, чтобы никто не нашёл. Забирали добро и уходили тайными тропками на остров. Долго за ними гонялись, а потом всё же выследили. Дождались, когда они из болота вышли, дорогу перекрыли, чтобы никто из разбойников не ускользнул, и тут же всех положили. Всех убили! Говорят, и схоронили там же, в трясины сбросили убитых разбойников, а сверху ещё огромный камень опустили. А когда сунулись на остров, чтобы забрать награбленное добро, никаких сокровищ не обнаружили. И куда они делись, до сих пор неизвестно...

А вскоре началась война с французами. Старики говорили, что здесь сильные бои шли. Много деревень сгорело. А как не сгорят, ежели по три раза в день власть менялась. Люди в землянках ютились. Много полегло в тех страшных боях: и русских солдат, и мирное население, и французов, и еще много всяких солдат, кому пришлось сражаться на той войне. Однажды русские загнали в ловушку французский отряд. Некуда было скрыться. Со всех сторон обложили, и тогда французский генерал велел отряду пробиваться через болото. Нашли проводника среди местных. Он повел через болото. Долго кружил. Вроде давно должны были перебраться на другую сторону, а оказались на острове, с которого был замечен край болота, откуда они начали свой путь. Рассвирепели французы. Поняли, что попали в ловушку. Изрубили проводника, а сами напрямую бросились к берегу. Не смогли добраться. Часть утонула в трясины, а другим повезло. Они вернулись на остров, где когда-то скрывались разбойники. Правда, неизвестно, кому больше повезло — убитым и утонувшим в трясины или спасшимся на этом острове. Они не смогли выбраться на твердую землю и стали обороняться. Понимали, что живыми отсюда не выберутся. Лучше погибнуть в бою, чем в трясины или голодной смертью. И сражались. Русские отряды не могли взять их. Не подступишься к болоту — с трёх сторон лес в воде стоит, а шагнешь — трясины, где сгинуть легче легкого. А одна сторона болота была чистая. Остров среди болота виднеется, а не подступишься. Трясины кругом, низкие сосенки растут, и французы не подпускали. Едва русские появятся на краю болота, вражеский отряд открывал огонь. И тогда русские протащили пушки, установили в кустах и принялись стрелять. Не смогли уничтожить французский отряд, зато перепахали всё болото, уничтожая тайные тропки с островка. Знали, что французы попали в ловушку, из которой не было выхода. Многие жители говорили, что оттуда долго доносились людские голоса. И разговаривали, и вроде просили, чтобы отпустили их, и песни пели, и ругались, а уцелевшие лошади начинали ржать. И так тоскливо, так больно, аж дух захватывало. А потом все тише и реже стали раздаваться голоса. И в один из дней вообще наступила тишина. Русские нашли проводника, который согласился провести на остров. Добрались. Весь островок обыскали, под каждый куст загля-

нули, а отряд словно испарился. Везде воронки, обрывки сбруи или одежды, два или три стоптанных сапога валялось, а вот людей и лошадей на острове не было. И следов не было, ни человеческих, ни лошадиных. Исчезли. Все до единого! Куда пропали с острова, никто не знает. А среди тех, кто с проводником побывал на островке, словно мор прошел. Многие умерли, а те, кто остался, тоже не жильцы были. А вскоре что-то непонятное и необъяснимое стало твориться. Кто мимо болота проходил, все слышали со стороны острова долгие стоны, невнятные разговоры, а иногда песня долетала или доносилось ржание лошадей, а бывало, по именам окликали прохожих: тихо так, словно рядышком стояли и просили, чтобы помогли им, потому что устали они, измучились. Видать, души исчезнувших покоя не могут найти. Странные дела творились, непонятные...

Говорят, что запретный плод всегда сладок. Матвей при случае всегда рассказывал, как в детстве с ребятами хотели добраться до Духова болота, чтобы разыскать лазейку на остров, где, по рассказам стариков, должны храниться несметные сокровища разбойников, потому что когда этих разбойников нашли и убили, никакого золота и драгоценностей на острове не было обнаружено. А куда же они делись, если разбойники всегда находились там? Вот в том-то и дело, что награбленное добро тоже должно было быть спрятано там. И ребята, наслушавшись рассказов, любым путем стремились попасть на этот остров, чтобы найти спрятанные сокровища. И каждый думал, никому они в руки не дались, а он найдет. И тогда... И начинали мечтать. И каждый мечтал о кругосветном путешествии, и каждому хотелось побывать там, а еще вон там, и тут тоже посмотрю, и жить будем, как у Христа за пазухой. Видать, всё же боженька оберегал ребят. Сколько раз ребятня из окрестных деревень пыталась добраться до болота. Хоть привязывай, так и норовили убежать. Пошушукуются, потом соберутся, прихватят фонари и тропкой подаются в сторону далекого леса. Но самое странное, что ни разу не смогли попасть на остров, даже добраться не успевали. Родителям словно на ухо шептали, что пацаны подались к Духову болоту. По дороге перехватывали ребят. И Матвея ловил отец, и ему доставалось на орехи. Всех беспощадно лупили. Крапивой, прутьями, ремнём, а бывало, кнутом хлестали. Но всё равно, пройдет немного времени, и опять какие-нибудь ребята собирались и подавались в сторону болота, потому что всем хотелось найти исчезнувшие сокровища, а чем это может обернуться — никто не задумывался. А потом, кто порывался на Духовом болоте побывать и на остров дорогу найти, все начинали по ночам метаться, кричать во сне и, всё рвались куда-то бежать. И так было до тех пор, пока родители не относили узелочки на край болота, чтобы задобрить неведомые силы. И родители Матвея тоже ходили к Духову болоту, чтобы оставить на камне подношение...

Долго Зинаида выглядывала в окошко или набрасывала кацавейку и выходила за калитку. Смотрела, не идёт ли Матвей. Извелась, вспоминая сон. Не зря батя приснился. Да ещё за собой зовёт. А если к себе зовет, значит, жди беду. Зинаида не выдержала. Поднялась на взгорок, оттуда лучше видать тропку, что к темному лесу вела, и стояла на вершинке, приложив ладошку к глазам. Всматривалась в осеннюю морось. А морось затянула округу. Всё дымкой покрывала. Вот почудилось, кто-то вдалеке мелькнул. Зинаида застыла, всматриваясь вдаль. Нет, показалось... А вон снова чёрное замелькало. Тьфу ты! Стаю ворон от человека не смогла отличить. Зинаида чертыхнулась. Развернулась и чуть было не уселась на пожухлую траву. Ноги подогнулись, когда увидела своего Матвея на скамейке возле дома. Всего лишь одна тропинка в сторону далекого леса вьется, а ведь он мимо взгорка не проходил, на котором она стояла. А сейчас сидит на лавке. Непонятно...

Зинаида мелко перекрестилась и заторопилась к дому.

Опустив голову, на скамейке сидел Матвей. Фуражки не было. Он сидел, о чём-то думал, не обращая внимания на мелкую морось, на промокшую тяжелую фуфайку, на изгвазданные сапоги с ошметками грязи, на штаны, где выше колена был вырван клоч материи, и руки, все в царапинах и ссадинах. Взглянул на жену, когда его окликнула, и опять опустил голову.

— Я все глазоньки проглядела, вся насквозь промокла, тебя ожидаючи, повернулась, а ты сидишь, прохлаждаешься и даже не позвал, — всплскивая руками, зачастила Зинаида. — Как ты мимо меня проскочил, а?

Матвей пожал плечами. Вздохнул. Было заметно, что он устал.

— Я помахал тебе, несколько раз окликнул, а ты стояла на взгорке, приложила ладонь и смотрела вдаль, а меня словно не заметила, — сказал Матвей и грязной ладонью вытер лицо. — В сторону Духова болота смотрела. Опять позвал и пошёл к дому. Думал, за мной пойдешь, а ты, оказывается, там осталась. Как не слышала, что я кричал? Я же рядышком потоптался, кликнул тебя, сказал, чтобы домой шла, нечего под дождем стоять, и сам пошел, не оглядываясь. Думал, следом идешь, а ты... Слепла, что ли, ежли

говоришь, что не видела меня...

Зинаида незаметно перекрестилась и взглянула на взгорок.

— Ей-богу, не слыхала! — она снова перекрестилась. — Вся тропка до самого леса как на ладони, мышь не проскочит, а ты говоришь, будто мимо прошёл. Не брешки! — и махнула рукой.

— Что мне брехать-то? — Матвей посмотрел на неё и ткнул в сторону леса. — А откуда же я взялся, если от Духово болота в деревню всего одна тропинка ведёт, а? Я же не попрусь по раскисшим полям. Сразу бы увяз...

Зинаида опять оглянулась. Задумалась, глядя на раскисшую дорогу, на чёрные осенние поля и голый лес, что стоял вдалеке.

— Значит, нечистая водит, — решила она и закачала головой, прикрыв рот ладошкой. — Божечка мой, беда пришла, не иначе, — и тут же: — А что расселся? Морось который день сыплет, а ты шляешься с голой головой. А где твоя фуражка? Ты же в ней ушёл...

Матвей потрогал голову. Оглянулся, посмотрел на лавку. Пожал плечами.

— Не знаю, мать, — сказал он, потом долгим взглядом смотрел на чёрную полосу далекого леса, где было Духово болото, и кивнул: — Наверное, потерял. Там...

— Вот и покупай тебе вещи, а ты теряешь их. Такая хорошая фуражка была, сносу нет, — недовольно заворчала Зинаида. — А что хмурый?

— Устал я, мать, — он растёр лицо ладонями. — Пока туда добрался, всю свою жизнь перебрал, обо всём думал. Иду по тропинке, и чем ближе к Духову болоту, тем меньше силы у меня остается, словно её вытягивают, словно с каждым шагом моя жизнь укорачивается. Шаг — дня как не бывало, шаг — еще на один день ближе к смерти, опять шагнул — и показалось, что порог жизни совсем рядышком находится. Сейчас переступлю, и всё... Видать, от жизни устал, хотя и пожил-то всего ничего. Наверное, мой срок подошёл. У каждого человека свой порог жизни. Пора в дорогу собираться. Наверное, сон в руку. Не зря же батя приснился, и собаки воют по деревне, а я сказал, когда его увидел: «Ты, батя, подожди, сейчас принесу тапки. Переобуешься». А он ответил: «Ладно, Матвейка, буду ждать тебя. Знаю, скоро придёшь». Сны не обманывают — они пророчат. Значит, настала пора отправляться в последний путь. Правда, еще не нажился на этом свете, много задуманного, но мало сделанного, но, видимо, пришло моё время с нашими встретиться...

— Что говоришь, Матюшка! — всплеснула руками Зинаида и не удержалась, шлёпнула его по голове. — Ишь, бестолковый, нажился... Что каркаешь-то? Батя ждёт... Вот сходил, отнёс тапки с носками, и всё, он успокоится. У всех же так бывает, кто умерших родственников во сне видел. Отнесут узелочек с подношениями к Духову болоту, потом дома помянут, и сразу плохое исчезает, а если с добром туда пришёл, хорошее сбудется. Устал, говоришь... — она поправила платок. — Как не устать, если бьёмся всю жизньюшку, ни денёчка спокойно не прожили. Не успеешь глаза открыть, уж пора делами заниматься, а вечером к подушке клонишься, глаза ещё не закрылись, а уже засыпашь. Конечно, устанешь! И я умоталась. Что говорить, тоже еле ноги таскаю. Всё надоело в жизни, всё. Сколько тебе говорю, что пора к дочке перебираться. В городе жизнь другая. Лёгкая! Катались бы как сыр в масле. Ни забот, ни хлопот. Не нужно в огороде ковыряться, не надо корма заготовливать и скотину держать. Живи на всём готовом и радуйся. А здесь... Эх, глаза бы не глядели... — она махнула рукой и поджала тонкие губы.

— Мы никому не нужны в городе, — поморщившись, отмахнулся Матвей. — В нашем возрасте работу искать — это бесполезно. Там телятницы не требуются. В лучшем случае, могут взять дворником, потому что у тебя никакого образования нет, да и возраст неподходящий, чтобы учиться и в кабинетах просиживать. А на улице, сама знаешь, как зимой работать. Без рук и ног останешься, пока всё уберешь. Родной двор чистишь, вся спина мокрая, а там гектары дворов. Никакой силы не хватит, чтобы за порядком присматривать. Ну, я еще могу устроиться трактористом или в слесаря пойти. Но всё равно денег не хватит. В городе жизнь хорошая, но дорогая, мать вашу так! Вон, посмотри, дочка с утра и до ночи горбатится на работе, а зять, Петька, один раз в жизни выпил и до сей поры похмеляется. На всех обиду затаил, что его тонкую натуру никто не понимает. А что понимать, если он алкаш конченный? Вроде молодой, жить бы да жить, а он кроме рюмки ничего не хочет видеть. А дочка живет с ним, потому что жалеет. Говорит, он пропадет без нее. Сколько говорили ей, а она своё твердит. А ты хочешь, чтобы к ним поехали. Свалимся на дочкину шею. Хватит, уже один охламон сидит и ноги свесил. И мы следом прикатим. Нет, мать, я говорю — устал жить. Понимаешь — жить! Наверное, смертушка по пятам ходит и не может дожидаться, чтобы меня забрать, — он задумался, а потом встрепенулся, взглянул на жену. — А ты знаешь, мать, я на том острове побывал, откуда голоса доносятся. Да вот...

Он закивал головой и снова взгляд в землю.

— Да ты что! — Зинаида зажала рот ладошками. — Брешешь, Матюшка! Оттуда ещё никто живым не вернулся. Что тебя черти понесли на этот остров? Я же говорила, положи коробку на камень, где отшельника распяли, и уходи, не оглядываясь, иначе беда вслед за тобой придёт. А ты на остров подался... Ой, Матюшка, ты же тёмные силы разбудил. Господи, спаси и сохрани! — она стала мелко креститься, что-то бормоча под нос. — Просила тебя: оставь на камне, оставь, а ты... — и всхлипнула.

— Ладно, успеешь поплакать, когда время придёт, — заворчал Матвей и поднялся с лавки. — Устал я, мать. Туда добрался. Вышел на край болота. Гляжу, на камне ничего нет. Может, птицы и звери растащили, а может, Духово болото приняло подношения, как говорят. Отдышался. Походил по берегу. Ну и того... В общем, побывал там. Пойду, мать, прилягу. Залихоманило меня. Никакой силушки не осталось, словно в древнего старика превратился. Едва до дома добрался. Опасался, если остановлюсь, значит, упаду, потому что ноги не держали. А если б свалился, как же ты нашла бы меня? Вот и пришлось ноги переставлять, лишь бы добрести. Устал я...

Матвей постоял, потоптался. Нахмурившись, исподлобья взглянул в сторону далекого леса, над которым кружились вороньи стаи, мотнул головой, скрипнул калиткой и, оскальзываясь, направился к крыльцу.

Он долго стоял на крыльце. Курил, о чём-то думал. Поворачивался к Зинаиде, которая стояла под навесом и укладывала щепу в кучку — это для растопки. Смотрел на неё, а потом отводил взгляд и снова доставал мятую пачку папирос и закуривал. Зябко повёл плечами. Что ни говори, а скоро заморозки. А сейчас холодно, сыро. Прошёл в избу. Скинул промокшую фуфайку. Зачерпнул воды из ведра, что стояло на скамье. Выпил. Наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку, прошёл в горницу. Долго стоял перед иконой. Хмурился, на неё глядел. Что-то шептал. Потом присел на лавку возле окна. Подпёр ладонью подбородок и уставился в окно, за которым уже повечерело.

— На душе тревожно, — задумчиво сказал он. — Сижу, всю жизнь перебираю. Даже странно... Никогда не задумывался, а сейчас всю свою жизнь по полочкам раскладываю. К чему бы, а? Знаешь, мать, — он взглянул на жену, — давно хотел спросить и забывал... У меня есть смертная одежда или ты еще не готовила? Ты время не тяни, приготовь и в шкаф положи. Так, на всякий случай. Пусть лежит. Хлеба не просит, а время придет...

Сказал и замолчал.

— Что тебе понадобится? — отозвалась Зинаида из кухоньки, а потом заглянула в горницу. — Куда торопишься? Заметила, сам не свой вернулся. Меня не проведёшь. Я ж тебя насквозь вижу. Ага... Ишь ты, помирать собрался. Всего до половины жизни дотянул, а туда же — помру, помру... Да на тебе пахать можно, в плечах косая сажень, а ты дурью маешься. Всякую ерунду говоришь. Рано еще. Живи, пока живется... — и встала в дверях, уперев руки в бока.

— Как куда тороплюсь? — Матвей удивлённо взглянул на жену. — Я же сказал, что помру. Вот придет моё время, помру, и всё на этом. У каждого человека свой порог жизни, через который он должен переступить...

И так спокойно сказал, так смиренно, что Зинаида громко и протяжно икнула и закачала головой, а потом принялась креститься.

— Матюш... Матюша, опомнись, — заторопилась она. — Чего ты удумал? Отведи беду от себя, не пускай её в избу. Пусть возвращается туда, откуда пришла. Не поддавайся. Если сломаешься, смертушка быстро тебя заберет. Отгоняй её, отгоняй!

— Знаешь, мать, сколько живу на свете, всё хотелось побывать на том острове, где слышны людские голоса, — задумчиво сказал Матвей. — Если там жил отшельник, потом прятались разбойники, и всё награбленное добро исчезло, французский отряд попал в ловушку на этом же самом острове и тоже исчез, что ни одного следочка не осталось... А куда всё подевалось? Я же с ребятами в детстве сколько раз пытался добраться туда, и не получалось. Отец так лупцевал, что на заднице одни сплошные шрамы, а я всё равно хотел пробраться на остров. И сейчас моя мечта сбылась. Мне захотелось там побывать, чтобы своими глазами на всё посмотреть. Послушать голоса, плач, лошадиное ржание, а если повезет, найти сокровища, про которые с малых лет слышал, но самое главное — это почему люди боятся Духово болото. Вот и решил, хоть одним глазком, но посмотреть, что за огромная сила там спрятана, от которой все бегут сломя голову. И я пошёл...

Зинаида застыла возле двери и с тревогой стала ждать, что скажет муж. Знала, его не нужно торопить. Сам расскажет. А если начнёшь подгонять, умолкнет и всё, потом не допросишься.

— Я вышел за деревню, потом свернул на тропку, чтобы побыстрее добраться. Иду, а ноги как чужие. Остановлюсь, отдышусь и снова шагаю. И чем ближе подходил, тем

тяжелее было шагать, словно всю силушку из меня забирали, будто с каждым шагом я всё старше и старше становлюсь. В лес зашел. За кусты, за деревья цепляюсь, а сам под ноги смотрю, чтобы тропку не потерять. Добрался. Стою между чахлах низких сосен, а внутри меня страх ползёт. Душа в кулак сжимается. Огляделся. Положил коробку на камень, где отшельника распяли. Постоял. Потом всё же решился и стал осматриваться по сторонам. А следом как будто меня подтолкнули к болоту. Один шагжок, второй, третий, под ногами всё качается, того и гляди, провалюсь, а сам прислушиваюсь. Тишина... Такая тишина, аж в ушах звенит. Ни голосов, ни песен, ни лошадиного ржания — ничего! Вокруг топи, низкие сосны, осока виднеется, рогоз, а мне словно тропку указывали, по которой должен пройти. Ведь ни разу не оступился, будто по твердой дороге шагал. Выбрался на остров и сам удивляюсь, как я живым добрался, если тут столько народу пропало, как рассказывают. Немного передохнул, а потом весь остров обошел. Под каждый куст заглянул. Ничего не нашёл, ни единого следочка, что стояла изба, в которой жил отшельник, прятались разбойники со своими сокровищами и укрывался французский отряд. Понимаешь, должны были остаться следы! Хоть что-то, но должно остаться. А там ничего нет. Пустой остров, словно никто и никогда на нем не был. Если взглянуть, таких островков по всему болоту много разбросано. И я понял, что никакой силы в Духовом болоте не таится. Всё это придумали люди. Понимаешь, мать? Нет того Духова болота, про которое многие годы шепотом говорили, куда люди со всей округи шли с узелками, чтобы от всяких бед избавиться или, наоборот, радостью поделиться. Ничего нет! И получается, что вся вера в Духово болото, где кроются тёмные и светлые силы, — пустая болтовня и не более того.

— Да ты что говоришь, Матюшка, как только язык повернулся такое сказать? — зашептала Зинаида и невольно взглянула на тёмное окно. — Так нельзя. В Духовом болоте силы преогромные таятся. Не дай Бог, если разбудишь! А ты потревожил, беду за собой привёл...

— Ерунда, — пренебрежительно отмахнулся Матвей. — Пустой островок, каких много в наших болотах можно найти, и ни одного следочка. Вот так-то, мать! Все верили в Духово болото и его несметные сокровища, которые охраняют огромные неведомые силы. Даже я верил и сейчас побывал там, а у самого мыслишка появилась, а вдруг да найду спрятанное добро. Но всё оказалось пустой болтовней и не более того, — он зашнулся, а потом усмехнулся. — Забыл сказать... Я перебрался на берег. Оглянулся, над болотом огоньки появились. Вот так, на уровне руки светились, словно дорогу указывали. Я ещё посмеялся над страхами. Говорят, если встретил огоньки — это к смерти, а я живым вернулся с острова. Правда, устал. Очень сильно устал, словно всю силушку из меня вытянули. Постоял возле камня, немного отдохнул, посмотрел на нашу коробку, которая там лежала, забрал и обратно принес. Там, возле печки, положил. Убери на место. Самим пригодится. Нечего понапрасну вещами разбрасываться. Пряжи не напасёшься, ежели каждый раз туда относить. А тапочки мне впору будут. Мягонькие, как погляжу, и лёгонькие, словно пушинка. Вот уж ногам-то радость! Ладно, мать, я прилягу. Устал что-то...

Сказал и принялся стаскивать с себя рубаху.

А следующим вечером Матвея не стало. Весь день во дворе возился. Видно было, о чем-то думал. Невпопад отвечал на вопросы, а то и вовсе молчал, словно не слышал. Поднимется на крыльцо, а сам, нет-нет, всё посматривал в сторону Духова болота. Стоит и снова берется за работу. Темнеть стало, когда в избу вернулся. Повечеряли. Он набросил фуфайку на плечи и вышел на улицу, чтобы покурить. Присел на лавку возле двора. Закурил, привалился к забору, и всё. Умер.

А прохожие, случайно забредшие в тот вечер к Духову болоту, услышали, как из глубины болота, где находился остров, опять стали доноситься лошадиное ржание, невнятные голоса, протяжные песни и тихий плач. И так тоскливо, так больно, аж дух захватывало...

## ДУШИ ЛЮДСКИЕ

Старый двор. Дом в три этажа колодцем. Окно в окно. Вся жизнь на виду, от рождения и до последнего дня. Там подворотня, здесь подворотня. Редкие машины, но частые прохожие. Рядом остановка и магазины. И течёт река из человеческих тел. Бежит, разбиваясь на ручейки. Некоторые из них торопятся вдоль улицы, а другие ручейки прозвенели в подворотнях и разбились на людей-живчиков, одни дальше заструились, а другие в магазины завернули, снова выкатывались на улицу, опять соединяясь в ручейки, и растекались по многочисленным улочкам и переулкам, и чем дальше, тем тоньше ручейки становились. И хлопали двери в подъездах, за которыми люди-живчики скрывались. Зажигались окна в домах. Наступил вечер...

Захар Носов вернулся с работы. Отделился от узенького ручейка, поздоровался с соседями, которые сидели на лавке и живчиком вкатился в подъезд. Насвистывая, взбежал на третий этаж, где у него была небольшая однушка. Хлопнул дверь и вздохнул, радуясь, что наконец-то наступил вечер и можно немного отдохнуть. Переоделся. Натянул трико. Набросил рубаху. Заглянул в холодильник. Суп в кастрюльке, плавленый сырок на полке, рядом пачка маргарина и ячейка с десятком яиц. Махнул рукой и захлопнул холодильник. Схватил чайник и сунул под кран. Зашипела вода. Громыкнул чайником по плите. Ужин будет попозже, а пока вскипятит чай. Налил в кружку. Сыпанул туда пять ложек сахара. Захар любил сладкий чай. Откромсал толстый кусок хлеба и подошёл к окну, которое выходило в небольшой, но в то же время, как ни странно, светлый внутренний дворик. Солнце не только заглядывало сюда, оно будто бы задерживалось, хотя в других таких же дворах было мрачно, сыро и холодно, а первый этаж, казалось, вообще не видел солнечных лучей, зато в их дворе... Солнце заглядывало, и дворик становился ярким, светлым и тёплым, но всю картину портила огромная куча мусора, что возвышалась на месте давно забытой большой клумбы посреди двора. Многие годы на ней скапливался всякий мусор, который бросали из окон, туда же вытаскивали старую мебель, надеясь, что мусорная машина увезёт, но она не забирала, и старье копились годами — культурный слой, так сказать. Здесь же валялись разобранные строительные леса и прочий строительный хлам, будто другого места не нашлось. Всё бы так и лежало, но недовольные жильцы всё чаще стали писать во все инстанции, что единственную клумбу — этот зелёный оазис в пустыне, этот островок счастья посреди каменных джунглей — захлामीли до такой степени, что даже старые жители не могут вспомнить, как она выглядела, эта клумба, этот единственный источник кислорода. И людям приходится заниматься чуть ли не акробатикой, преодолевая все препятствия, лишь бы добраться до подъезда. А скоро, если не будут приняты самые наистрожайшие меры, двор превратится в один огромный мусорный бак, потому что хлам уже местами возвышался выше первого этажа, и людей ждёт верная смерть. Жаловались до тех пор, пока не приехала комиссия, которая заставила нерадивых руководителей очистить двор. Очистили. И правда, перед глазами жильцов появилась заброшенная и давно забытая клумба. Попервоначально местное руководство пытались облагородить двор, чтобы перед комиссией отчитаться. Привезли несколько машин земли. Вывалили на клумбу. Высадили хиленькие ростки неизвестных цветов, сфотографировались на фоне клумбы вместе с жильцами, напечатали в газете, и всё на этом. Забыли про клумбу. За ней же надо ухаживать, а присматривать некому, как сказали на общем собрании. Не нашлось желающих, которые согласились бы кланяться каждой дворовой клумбе, хотя по пальцам можно было пересчитать все клумбы в городе. И, сославшись на тяжёлое положение, на нехватку рабочих рук, а тем более денежных средств, руководители с чистой совестью отказались от содержания клумбы, но тут же согласились, чтобы жители своими руками сделали из двора цветник, но на свои кровные деньги. И даже пообещали, что включают двор в международные соревнования на самую красивую клумбу планеты. Правда, обещание быстро забыли, потому что есть дела поважнее, чем заброшенная клумба.

Долго жители ломали головы, что сделать на месте этой огромной клумбы. Первыми высказались владельцы машин, которые предложили построить гаражи, чтобы машины были на виду, но многие воспротивились. И так гари достаточно в городе. Не продохнуть. Не хватало, чтобы ещё в родном дворе устроили автомастерские. И отказались. Потом собирались вкопать столбы и натянуть верёвки для сушки белья — это на собрании предложили, но опять многие отмахнулись. Бельё можно и на балконе посушить, а двор — это не прачечная, это место общения всех соседей. А-а-а, если место для общения, тогда давайте-ка поставим беседки, чтобы вечерами можно было в домино поиграть или в какие-нибудь игры, к примеру, в подкидного дурака, а можно на ин-

терес, чтобы скучно не было, — это предложили мужики, но женщины наотрез отказались. Достаточно городского шума, а тут до ночи будут доминошками стучать да орать как резаные, а потом, когда взрослые по домам разойдутся, молодёжь со всей округи станет собираться, начнут вино пить и ругаться непотребно, на гитарах брэнчать и горланить песни до утра. Ни днём, ни ночью никакого покоя жильцам не будет. Отказались. А потом кто-то предложил, что опять нужно цветочную клумбу сделать, потому что вокруг только асфальт и бетон, камень и стекло, и ничего такого, чтобы глаз радовало, чтобы душа отдыхала. И все единогласно проголосовали за цветник, но не у каждого была возможность им заниматься, и тогда старухи проявили инициативу и быстренько прибрали клумбу к своим рукам. Теперь почти у каждой был свой клочок земли или садик, как они ласково называли, где старались посадить всё что угодно и даже больше того, лишь бы глаз радовало и душа отдыхала в этом каменном колодце среди кирпично-железобетонных джунглей. А две старухи рябинки посадили. И отстаивали право на жизнь этих саженцев. Говорили, что каждый человек просто обязан посадить хотя бы одно дерево в своей жизни, и грудью встали на защиту своих насаждений. Отстояли. Старухи готовы были дневать и ночевать возле своих садиков, лишь бы кто-нибудь из недоброжелателей не выдрал из земли посаженные цветочки. Врагов хватало. Внутренних врагов был полон двор, как они считали, да ещё включая внешних — прохожих, которые нескончаемым потоком движутся через двор. С раннего утра и до позднего вечера старухи стояли на охране своих цветов и саженцев или сидели на лавочках возле садиков и обсуждали новости. А новостей было много, как мирового масштаба, так и дворового, где вся жизнь проходит на виду, где ничего не скроется от дотошных старух. И всё нужно обсудить, постановить и вынести решение.

Старухи жили дружно, а бывало, под хорошее настроение даже разрешали соседям посидеть с ними на скамейках возле садиков. Правда, редко, но такое случалось. Хвастались своими цветами, но близко не разрешали подходить. А чужих вообще не пускали в свой мирок. Машины тем более гнали со двора. А то понаставят кому не лень, не продохнуть от дыма, поэтому цветы вянут. И гнали всех, кто даже на минутку заезжал во двор. Нечего делать. На улице оставляйте свои колымаги, а тут нельзя, потому что здесь всё создано для отдыха человека, чтобы глаз радовался, а душа тем более. А вот прохожие постоянно ходили через двор. Этих не остановишь. Двор-то проходной, тем более что рядышком магазины и остановки. Лайся не лайся, а они ходили и будут ходить, потому что проходные дворы для этого и созданы. И прохожие-живчики постоянным ручейком журчали через двор. Одни шли, не обращая внимания на клумбу и садик. Насупившись, словно думу великую думают, они шагали, не замечая ворчливых старух. Глаза в землю и торопятся. Останови и спроси, что увидел во дворе, они два слова не свяжут, потому что ничего не видели, кроме людей, впереди идущих, и дороги под ногами, потому что головы забиты другими заботами и некогда смотреть на всякие клумбочки-садочки. А были такие, кто шагал, с любопытством поглядывая на цветущие островки среди асфальта и каменных домов, потому что нечасто увидишь такое в этих железобетонных джунглях, где не только деревья, даже трава не растёт на газонах, потому что земля в камень превратилась. А здесь зашёл и как в сказку попал. Рады бы остановиться да посидеть на одной из лавок, что стояли возле клумб-садиков, но сзади подталкивали прохожие, и старухи прогоняли всех, потому что разреши одному посидеть на своей лавке, потом отбоя не будет от желающих, и не дай бог, если начнут цветы рвать. Поэтому — запрещали...

У Захара тоже был небольшой клочок земли. В наследство от родителей достался. Правда, он ничего не сажал. Не тянуло к этим лютикам-цветочкам, и на то была веская причина, как он считал. Зато нравилось наблюдать, как старухи воркуют над цветочками. Вернётся с работы. Ужин разогреет, потом возьмёт кружку с чаем и устраивается на широком подоконнике. Сидит, чай пьёт, сигаретку покуривает и сверху смотрит на яркие разноцветные клочки среди серо-жёлто-каменных стен и разбитого асфальта. Сверху не рассмотришь, что старухи посадили, но все цветущие клочки на клумбе превращались в яркую мозаику, если в окно выглянуть. Каждая старуха старалась перещеголять остальных, приобретая диковинные семена, и ворковали, чуть ли не пылинки сдували со своих цветочков, окружая каждое растение заботой и лаской, и поэтому цветам было вольготно, они росли яркими, красивыми и ухоженными. Правда, клочок Захара пустовал и смотрелся чёрной заплатой на цветастом фоне. Многие старухи выпрашивали его, даже деньги предлагали, а он не отдавал. Жалко было, а почему — не мог объяснить. Может, надеялся, что когда-нибудь в будущем, когда станет одним из таких же, как они... А потом неожиданно отдал соседке, хотя она не просила его.

По дворовым меркам, его соседка, баба Вера, недавно заселилась в этот дом, а вот Захару казалось, что она вечно жила здесь, как и остальные старухи. Баба Вера сторонилась других. Неразговорчивая была. Взглянет исподлобья и торопится домой. Но если

старухи замечали, что она стоит возле клумбы и шепчет, сразу прогоняли. Баба Вера не спорила с ними, а молчком уходила. Во дворе ничего про неё не знали. Она появилась после войны и во дворе считалась молодой, потому что в этих домах некоторые семьи ещё до революции жили, а потом квартиры переходили детям, а те в свою очередь передавали по наследству своим детям. Здесь знали про каждого всё и даже больше того, чуть ли не до седьмого колена, как говорят, а вот про бабу Веру ничего неизвестно. Она перебралась в этот дом из соседнего городка, с собой было несколько узлов, кое-какая обшарпанная мебель, и всё на этом. Не водила дружбу с соседями. Поздоровается и молчком в подъезде скрывалась. Бывало, соседки останавливали её, а она будто не слышит. Вроде вся жизнь двора на виду, а про неё ничего не могли сказать — это злило и ещё сильнее подогревало любопытство. Но с Захаром здоровалась она, если сталкивались. А бывало, улыбнётся, заметив его, но тут же стирает улыбку с морщинистого лица, словно не хотела, чтобы видели улыбку, но скорее всего не хотела, чтобы в её душу лезли, расспрашивали и прошлое ворошили. Да, наверное, так и было...

Захар давно заметил, как соседка поглядывала на остальных старух, у кого были садики. Иной раз подойдёт и с места не сдвинется, смотрит на цветы, а сама что-то шепчет, а потом говорит, что цветы — это души людские. Старухи прогоняли её, думали, порчу наводит. Баба Вера уйдёт, а потом снова приходит и всё на цветы смотрит, а у самой губы шевелятся, будто разговаривает с ними. Одна жила, как и Захар. О себе ничего не рассказывала и другим в душу не лезла. Единственное, что сказала, что у неё родных не осталось. Одна на белом свете. Наверное, поэтому он решил отдать землю, что такую же одинокую родственную душу встретил. Он тоже ни с кем не общался. Привет, привет, как дела, и всё на этом. И торопился домой. Он привык к одиночеству. И баба Вера была такой же.

Однажды Захар, возвращаясь с работы, остановил маленькую старушку. Сказал, что решил отдать землю ей, но временно, и потребовал, чтобы каждый месяц ставила бутылку. За аренду, так сказать. Баба Вера обрадовалась, что клочок земли появился, а он бутылке на халяву. Предупредил старуху, что земля его, почти собственная. По наследству досталась, так сказать. Это он так, на всякий случай сказал. Старуха закивала головой. А потом вскопала клочок земли, принесла небольшие узелки. Из одного высыпала землю на клумбу, из другого семена разбросала, где густо, а где пусто. Ладонями землю разровняла. Воду принесла. Полила, и всё на этом. Старухи посмеивались, какой же дурак среди лета цветы сажает, а она молчала. А потом появились первые цветы. Не такие, как другие сажали, кто кого переплюнет, а самые что ни на есть простенькие, словно собирала семена где ни попадя и высадила, лишь бы клочок земли занять. Одни, едва появившись на свет божий, уже зацвели, а другие выше поднимались, а третьи только ещё проклёвывались, а некоторые вымахали высокими и кустистыми. Одни едва рождались, другие цвели, а третьи уже состарились. Всё как у людей, или похожи на людей...

Баба Вера каждый вечер приходила в садик. Выносила табуретку, садилась лицом к цветам и принималась что-то рассказывать, словно с кем-то разговаривала. Первое время соседки пальцами крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, а потом замолчали. Ну, как замолчали... Ругались, что её простенькие цветы, больше похожие на сорняки, перебираются на их участки, где всюю горят-польхают всевозможные яркие и ухоженные цветы, которым место на выставке, а не рядом с полевым разноцветьем. И так было всегда, когда наступал вечер, и все собирались возле садовочков, но баба Вера не обращала на них внимания. Она сидела и разговаривала с людскими душами...

И сейчас стоял Захар перед окном и смотрел, как возле своих садиков сидели старухи, а мимо них торопились люди. Много. Словно муравьи. Друг за другом. У каждого пакеты в руках. В магазин заходили, а теперь домой торопятся. Муравьи-живчики. Сейчас выскочат через другую подворотню, а там неподалёку остановка. Хочешь, езжай на автобусе, а решил пешком пройтись, можешь отправляться проходными дворами, если не заплутаешься, или начинай колесить по улицам. К примеру, поверни пять раз налево, семь раз направо, потом через три проулка, там будет кинотеатр, но туда не заходи, а шагай по главной аллее через парк, где раньше был большой фонтан, на месте которого поставили общественный туалет, потом в ту сторону поверни, в эту два раза и попадёшь на перекрёсток, и шагай на все четыре стороны, куда тебе нужно. Вся жизнь — это дорога. И ничего в жизни не видишь, кроме дороги. И везде нужно успевать. А нужно ли торопиться? Кто знает... С самого рождения и до своего последнего дня суетишься: садик, школа, институт, работа, пенсия — если доживёшь, конечно, а впереди ожидает кладбище — финишная черта этой самой жизни, и лишь там человек находит покой...

Захар часто вспоминал родителей. Вся жизнь — беговая дорожка. Везде нужно было успеть. Работа, дом, снова работа, и редкий раз выезжали за город, чтобы побродить по

лесу. Тогда родители превращались в детей, которые носились по лесу, восторженно вскрикивали, чуть ли не в ладоши хлопали, заметив яркого дятла на дереве, или натыкались на полянку, полную ягод, и ползали на коленях по траве. Срывали спелые ягоды и ели и баловались, размазывая сок по лицам, а потом приходилось возвращаться в город, и снова начиналась жизнь по кругу — работа, дом, работа, дом, а по вечерам небольшой отдых для души, устраивая посиделки возле своего садика... Как заведённые. Жизнь пролетела, а они не заметили, как состарились. Так и ушли друг за другом. Как были в жизни вместе, и там оказались вдвоём, оставив Захару однушку, продавленный диван и раскладушку, многочисленные полки с книгами, холодильник на кухне и клочок земли, где выращивали цветы, где душа отдыхала. Вот всё богатство, какое они заработали за долгие, но в то же время торопливую жизнь. И Захар, сколько лет прожил один, но ничего, кроме книг, в доме не прибавилось, и к садику был равнодушен. Не интересовался новыми вещами, и в земле не хотелось возиться, лучше из окна глядеть, как старушки воркуют в своих садочках. Захар не гнался за красотами жизни. Есть на чём поспать, есть из чего поесть, и хватит, а по вечерам, если не пошёл шататься в одиночестве по городу, можно книжку почитать или в окно поглазеть на старух, но самого не тянуло возле садика сидеть — цветы охранять. А может, будет сидеть, когда его время придёт. Захар привык к одиночеству. Ни друзей, ни жены. Не хотел жену приводить в дом, чтобы никто не влезал в его одиночество. Были временные девки. Девки-однодневки, как он называл, которые не задерживались в доме. Но даже однодневкам не нравилось, как он живёт. Ну и ладно, говорил он, вслед махая очередной девке. Меньше заботы. И опять возвращался к привычной жизни. Работа, дом, а по вечерам сидел на подоконнике и читал свои книги или наблюдал за соседками, которые устраивали посиделки, а в выходные, если солнце заглядывало во двор-колодец, старухи грелись под тёплыми лучами и в такие минуты становились добрее, что ли, разрешая соседям посидеть возле садочков...

Захар стоял возле окна, наблюдая за цветочной мозаикой. «Ты посмотри, — думал он, — вроде бы повсюду камень, а гляди ж ты, цветы растут. Это ж сколько в них силы заложено, чтобы с камнями справиться. Ну и что, что земля насыпана, так корни же вглубь лезут, а там камни. Наверное, между ними протискиваются. О, как жизнь любят! Не то что люди. Чуть что не так, и всё — отдал концы, а растения — это ого-го! Растения — это сама природа, можно сказать».

Он часто вспоминал, как однажды с мальчишками залез на крышу, и там, за трубой, в местечке, защищённом от ветра, росла кроха-берёзка: тоненькая, хрупкая и светленькая. Она прижималась к кирпичам, словно защиту просила, а они прикрывали её от ветров да холодных дождей. Пацаны хотели выдернуть берёзку, но Захар вступился. Разодрались на покато́й крыше. Ладно, кто-то из окна заметил и крикнул, а то неизвестно, чем бы драка закончилась. С той поры Захар частенько поднимался на крышу. Съездит на окраину города, в кулёк или пакет насыплет хорошей земли и торопится к своей берёзке. Вывалит под корни, потом притащит бутылку с водой. Польёт, и казалося, берёзка радуется. Усядется рядышком и начинает мечтать, а бывало, вспоминал, как с родителями ездил в лес. Но однажды залез на крышу и увидел, что его деревце валяется, а возле него электрики работают. Вырвали, чтобы не мешалась. Захара обвинили, что из-за дерева замкнуло провода, и весь дом... да что дом, почти весь район остался без электричества. «Не врите!» — крикнул Захар, подхватил берёзку и побежал в садик, который родители сажали. Руками выкопал ямку, посадил деревце, надеясь, что будет расти, но, видать, корни повредили, когда топгались по ней. Засохла берёзка. С тех пор Захар не любил ни деревья сажать, ни цветы выращивать. Жалко было, что они умирают...

И сейчас стоял, смотрел на цветы. В душе радовался, но в то же время понимал, что эта красота не вечна, и пройдёт всего лишь немного времени, и цветы завянут, а осенью вообще оголится земля. Следом метели закрутят и скроют под снегом садики. Останется снег и камень. И снова будут старухи до весны ждать, когда сойдёт снег и прогреется земля, чтобы опять выйти, посадить цветы и до глубокой осени за ними ухаживать, над каждым цветочком трястись и всех прогонять, лишь бы не сорвали. А его соседка, кому он отдал во временное пользование свой клочок земли, она не тряслась, как другие. Рассыплет семена, ладошкой пригладит, словно приласкает, и ждёт, когда они проклюнутся. А потом до снега сидит возле неприметных цветков и разговаривает с ними. У других давно уж завяли цветы и они по домам разошлись, греются, а баба Вера всё ещё выходила к садику, где продолжали радовать глаз простенькие цветочки. Одни отцветали, а на их месте появлялись другие, и так до самых холодов. Соседка радовалась, что никто не мешает её одиночеству. Принарядится, словно на свидание отправляясь. Даже казалось, будто молодела, пока рядом с цветами сидела. И так каждый раз...

Старухи, какие ухаживали за своими садиками, понемногу привыкли к этой странной соседке, которая с ними не общалась, не сидела на лавочке и не перебивала кости жильцам, а чаще находилась возле своего разноцветья, которое и цветами как-то стыдно было называть, как им казалось, если взглянуть на их садики, где во всей красе благоухали всеми цветами радуги цветы, каким место не на клумбе, а в ботаническом саду или на выставках. И как-то неприглядно смотрелось простенькое разноцветье рядом с этими выставочными экземплярами. Но больше всего старухи были недовольны, что эта соседка позволяла прохожим посидеть на её лавочке и отдохнуть. Правда, цветы не разрешала рвать. Всем твердила, что цветы — это души людские. И ежели кто сорвёт цветок, значит, тот погубит душу человека. Многие смеялись над ней, а некоторые пальцами крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, но баба Вера не обращала внимания. Пусть болтают, что хотят...

Захару интересно было наблюдать за клумбой. Сидит на подоконнике, чай попивает или курит, а сам смотрит на мозаику. И правда, как мозаика — эти цветы. Всякие: яркие, всех цветов радуги, лишь у его соседки были простенькие цветочки, но они вид не портили. А наоборот, что-то такое было в них, что связывало все цветы воедино. Казалось, выдерни яркое разноцветье у любой из старух, и ничего не изменится, потому что у других почти такие же растут. А вот если вырвать у его соседки цветы, и всё — мозаика распадётся. Если повнимательнее взглянуть на цветы, можно даже хозяев представить. Может, и правда, души людей переселяются в цветы, как баба Вера говорила. Всё как в жизни — у одних она яркая и многоцветная, как конфетная обёртка, но душа пустой окажется, а у других с виду непримечательная, а копни поглубже и увидишь, сколько тепла или добра в этом человеке находится, который со всеми делится и ничего взамен не требует. Каждому человеку, как и цветку, уготована своя жизнь. Одни пытаются прыгнуть выше головы и разбиваются, ничего не достигнув, некоторые взлетают, но быстро сгорают, а другие довольствуются тем, что свыше дадено. Значит, после смерти у каждого человека будет свой цветок, где его душа найдёт покой. Видимо, так оно и есть...

— Баб Вера, — стукнул по двери Захар и, заметив, что незапертая, удивлённо качнул головой и зашёл. — Слышь, баб Вер, а что дверь нараспашку? Я что пришёл-то...

Сказал и прислушался. В квартире было тихо.

Захар потоптался в прихожей и не удержался, направился к приоткрытой двери, с любопытством осматриваясь по сторонам. Он впервые зашёл к ней домой, хотя всю жизнь прожила здесь, как казалось Захару. Сама ни к кому не ходила и к себе не приглашала, а кто и заходил, того дальше порога не пускала.

— Баб Вера, что молчишь? — опять окликнул Захар, продолжая осматриваться. — Эй, есть кто живой?

Сказал и заглянул в зал. В зале стоял диван, круглый стол, возле него два или три стула. В углу старая этажерка, виднеется пара книг да какие-то журналы. Отдельно лежат газеты. Застиранные занавески на окнах. Возле стены обшарпанный комод. На стене фотографии в чёрной раме. Захар закрутил головой. Темно. Оглянулся, а потом щёлкнул выключателем. Вспыхнул жёлтый тусклый свет под абажуром. Прислонившись к комоду, Захар внимательно всматривался в фотографии. Если хочешь узнать о прошлом человека, смотри фотографии — они многое могут рассказать. И правда, на снимках два старика и дядьки с тётками, моряк в лихо заломленной бескозырке, детская фотография, а на одном снимке узнал свою соседку, которая стояла рядом с парнем. Совсем молоденькие. Оба напряжены. Он хмурился, стараясь выглядеть постарше, а она была испуганной, того и гляди заплачет. Оба пристально смотрели в одну точку. Наверное, фотограф велел. Так и получились на снимке...

Захар повернулся, когда услышал шаги. Рядом с ним стояла соседка и смотрела на него, на фотографии, сама хмурилась, но молчала, а другого давно бы выгнала. Захар хотел было спросить и потянулся к фотографиям, она покачала головой и придержала за руку.

— Не тронь, Захарушка, — непривычно, но в то же время ласково назвала его. Так только мать звала в далеком детстве, а теперь и она, даже интонации были похожи. — Не тронь, Захар, — повторила соседка. — Много лет никто к ним не прикасался. Это память. Фотографии — это единственная память о нашей семье и моём Захаре, который воротился с войны, а в мирную жизнь не вернулся.

— Как так? — Захар мотнул головой. — А куда он делся?

— Война его забрала, хотя и закончилась, — запнувшись, словно решая, рассказать или нет, сказала баба Вера, а потом кивнула на диван. — Присядь, Захарушка... — сказала и сама рядышком пристроилась. — Я никому не рассказываю о своём прошлом. Оно — тут, — и баба Вера ткнула в грудь. — Это моя радость и беда. Прошлое останется со мной. Ты спросил про мужа? Так вот... Его Захаром звали, как и тебя. Мы перед са-

мой войной свадьбу сыграли. Всего лишь неделю прожили, и война началась. Налюбиться не успели, как моего Захара забрали. Сфотографировались с ним, когда на войну уходил. Сказал, мол, гляди и меня вспоминай. Так и получилось. Он с первых дней на фронте, а я посмотрю на снимок, и все думы о нём, лишь бы живым вернулся. Любой. Без рук и ног, но вернулся. Каждый день весточки ждала от него, каждому письму радовалась. Читала и перечитывала до дыр. В стопочку складывала. Мечтала, когда он вернётся, вместе будем перечитывать. А в конце войны письма перестали приходить. Я не знала, что думать. Если убили, где похоронка? Если без вести пропал, почему не сообщили. А если живой, так отчего не написал? Вот эти вопросы мучили меня. Вроде есть человек, а в то же время — исчез. И никакой весточки от него. Был и пропал, я бы так сказала. Но если нет никаких вестей, значит, рано хоронить. У других же бывало, что чуть ли не с первого дня ни одного письма не получали, а потом объявлялся жив и здоров. И я верила, что мой Захар живой. Вытащу фотографию и разговариваю с ним, словно он рядышком сидит. Обо всём говорила, но чаще вспоминала нашу прошлую жизнь и мечтала о будущей, как война закончится, он вернётся, и мы заживём, и детишек будет семеро по лавкам. Сама мечтаю, и казалось, он слышит меня и отвечает. Понимаешь, верила, что он живой. Сердце подкашивало. Сколько говорили, что понапрасну жду, а я продолжала надеяться, что мой Захарушка вернётся. И не ошиблась. Однажды тётка Авдя, соседка наша, пришла и говорит, будто видела на вокзале в соседнем городке калеку безногого. На моего Захара похож, такой же молодой, но весь седой. Подошла к нему, окликнула, а он прогнал её, сказал, что ошибаешься, тётка, что он случайно попал в этот город, а сам будто бы живёт на краю земли. Она рассказывает, а у меня сердце ёкнуло. Подхватила и помчалась туда. Не заметила, как десять вёрст промелькнули. И не удержалась, ноги подогнулись, когда калеку увидела. Издалека поняла, что это был Захар. Пьяный. На тележке пристёгнутый. Он сидел возле привокзальной столовой. Я кинулась к нему, а ноги не держат. Упала перед ним, заголосила. А потом бросилась обнимать его и целовать, а сама и смеюсь и плачу, его ругаю, что ж ты, такой-сякой, домой не едешь, я ж все жданки проела, все глаза проглядела. Он увидел меня, отдёргнулся, весь затрясся, аж белый стал, принялся матюгаться и всё норовил оттолкнуть, мол, обозналась ты, девка. А как я могу обознаться, если каждую чёрточку, каждую родинку знала наизусть? Снова сунулась к нему, а он в кошки-дыбошки, мол, если не останешь, изувечу!

И замолчала, о чём-то задумавшись.

И Захар молчал, опасаясь нарушить эту тишину.

— В общем, через ругань и тычки, но всё же уговорила и забрала его домой, — показываясь, сказала соседка. — Привезла. Своей бани не было. Нагрела воды и ну его намывать. Только пена и мат во все стороны летели, а я молчала. Плакала, что на нём живого места не было. И радовалась, что мужик возвратился домой. Пусть изувеченный, но главное, что живой. Теперь заживём! У других никого, а у меня хоть калека, но вернулся. Да, радовалась, только недолгой моя радость оказалась... — и опять замолчала. Долго сидела, а потом встрепенулась. — Стали жить, — продолжила. — До войны мы мечтали об одной жизни, а на деле по-другому получилось. В первый же вечер потянулись соседки, чтобы про своих мужиков спросить, у кого с войны не вернулись. Шли узнать, не встречал ли их. Двери не закрывались. И не выгонишь. Сама такой же была. Они спрашивают, а его трясоти начинается. Не хотел вспоминать войну. Да так и было... А бывало, что плакал. Отвернётся, а у самого плечи ходуном ходят, а спроси, сразу отгрызается, если сунешься пожалеть, матюгами обложит. Я понимала, не на меня злится, а на себя, что такой молодой и калека. До войны был шофёром. Вернулся калекой. Однажды бегу домой и вижу, сидит мой Захарушка возле чужой машины и гладит колесо, а у самого слёзы на глазах. Кинулась к нему, а потом остановилась, а у самой сердце словно в кулак сжали, аж не продохнуть. Всё бы отдала, чтобы вернуться к прошлой жизни, но не получилось. Захар молодой, ему жить да жить, а он не выдержал и запил. Крепко. Я на работу, а Захар к ближайшему магазину или на рынок. Там всегда находились сердобольные люди. То деньги сунут, то угостят. А к вечеру лыка не вяжет. Вернусь, а его нет. Бегаю по улицам, его разыскиваю. Найду, домой волоку. А утром снова на работу. И так каждый божий день. В общем, сломался мой Захар. Его можно понять. Жена молодая, а он калека. Здесь бы ребятишек рожать и рожать, упущенные годы наверстывать, а он ни на что не способен и на детей — тоже. Я работаю, а он инвалид безногий. Я расцвела, когда его нашла, обрадовалась, что мужик домой вернулся, а он себя поедом ел, что не погиб на фронте, что калеки никому не нужны, а жёнам тем более. И покатишься по наклонной. И чем дальше, тем быстрее. Ночами воевал. Нет, не со мной. В атаку ходил. Он же в пехоте воевал. Очнись от крика: «Взвод, за мной!» Кинусь, а он лежит и трясется. Вроде смотрит на меня, а не видит. Криком исходит, поднимая солдат, аж пена на губах и глаза белые, и всё обрубками ног шевелил, словно бежит... Трясу его,

трясу, он не слышит. Он бойцов в атаку ведёт. И умер в атаке. Вскинулся, закричал, взмахнул рукой и захрипел. Бросилась к нему, а он не дышит. Сердце остановилось. Осколок рядом был. Сдвинулся, и не стало моего Захара. Вот и получается, что на войне погиб, хотя война давно закончилась, — помолчала, а потом не сказала, а выдохнула: — Не уберегла его. Себя буду винить до последнего дня своего, что не сберегла мужа, что времени на него не нашла. Его бы приласкать, чтобы душа оттаяла, присесть и поговорить лишний раз, а я на работу бежала. Если б рядышком была, думаю, выходила бы его. Потихонечку, но вернула к жизни. А у меня не получилось. Чуть свет уходила на работу и поздно возвращалась, а мой Захарушка оставался один на один со своими думами и бедой. До войны песни любил петь, а вернувшись, замкнулся в себе. Не то что-то была песня, слово с него не вытянешь. Так и ушёл от меня, не поговорив по душам. Поэтому виню себя в его смерти. Себя и никого более. С той поры одна осталась на всём белом свете. Такого, как Захар, не найдёшь, а другие не нужны. Памятью живу. Всё, что было хорошего в моей жизни, осталось в прошлом, а впереди один мрак и ничего более...

— А это кто? — не удержался Захар и кивнул на фотографии.

— Там бабка с дедом, родители и младшие братья с сёстрами, — тихо сказала баба Вера. — У нас была большая семья. Никого не осталось. Я ж замуж вышла, и к Захару уехали. Он в городе жил. Потом война началась. Захар ушёл на фронт, а меня с заводом в тыл отправили. Сколько писала домой, никто не ответил, а потом узнала, что отец на фронте погиб, а мать и младших фашисты расстреляли. Окружили деревню, где они прятались, согнали к оврагу, там и расстреляли. Немногие спаслись. По пальцам пересчитаешь, кто успел в лес уйти, а остальных в овраге положили. Ездил туда. Разыскала место, где расстреляли. Глубокий овраг. Внутри темно, а склоны цветами покрыты. Разные цветы. Усыпаны склоны! Долго сидела на краю оврага. Всё плакала, говорила с матерью и братишками, и показалось, что цветы качаются, словно разговаривают. И правда, прислушаешься, будто шёпот отовсюду доносится. Видать, души людей, кто погиб здесь, в цветы превратились. А потом снова приехала. Осень на дворе была, когда навестила родных. Листва с деревьев облетела, а склоны сплошь в цветах, которые закачались, когда с ними заговорила. Долго сидела, обо всём говорила и о жизни — тоже, потом насыпала земли из оврага, где они были расстреляны, где кровь рекой текла, и оставилась на ночлег у старухи, что жила на краю леса. До утра просидели. Обо всём говорили с ней. А утром, когда я собралась в дорогу, она сунула узелок в руки и сказала, что в этих семенах души людские находятся. Сколько лет хранила, не знала, где посадить. Дома рассыпало на столе, по семечку перебираю и разговариваю с ними, как с живыми людьми, и казалось, что они отвечают. Не знала, где посадить цветы, а ты словно почуял. Отдал свой садик, и я словно ожила. Посажу рядышком, всех повспоминаю, поздороваюсь с ними, каждого по имени назову, со своим Захаром поговорю, с матушкой пошепчусь, отцу поклонюсь, и душа успокаивается. И они, наверное, тоже радуются, что их не забывают. Там радуются...

И ткнула вверх, словно на небеса показывала. Замолчала. Сидела, раскачивалась и о чём-то думала. Наверное, своих вспоминала...

Долго сидел Захар, не решаясь подняться. А потом вышел и потихоньку прикрыл дверь.

С той поры Захар подружился с соседкой. Они не разговаривали. Захару хватило того, что от неё услышал, а лезть в душу не привык, да и она не дала бы влезать. Он свыкся с одиночеством, и она привыкла к такой же жизни. Бывало, Захар возвращался с работы, садился на скамейку возле её садика и подолгу смотрел на цветы, о чём-то думая. И баба Вера присаживалась. Тоже молчала. Разговоры были ни к чему. Они были разными по возрасту, но в то же время, что-то их связывало. И это что-то было — одиночество.

Однажды, вернувшись с работы, Захар привычно налил чай в кружку, сыпанул побольше сахара, чтобы ложка стояла, как он говорил, взял кусок хлеба, подошёл к окну, уселся на подоконник, взглянул вниз и поперхнулся. Цветов бабы Веры не было. Чернела земля и виднелись растоптанные кучки зелени, а мимо журчал ручеёк из проходных-живчиков. Одни шли, ничего не замечая, а другие останавливались, взглянув на разорённый садик, но в спину толкали прохожие, и они снова торопились вперёд. Много народу проходит через двор, но никто не видел, как разорили садик, кто уничтожил цветы — эти души людские, как называла их баба Вера.

Баба Вера заболела. Сильно. Редко стала на улице появляться. Выйдет, постоит возле своего клочка земли, где так и валялись выдранные цветы, посмотрит и начинает о чём-то шептать. Наверное, прощения просила за тех, кто цветы выдрал. Даже не присаживалась, а постоит, прислушается, но никто ей не отвечал, и тогда она потихонечку уходила домой.

Захар долго наблюдал за ней и садиком. Он не любил цветы, потому что они умирают. Но жалко стало бабу Веру. Посадила полевое разноцветье и сидела вечерами, с душами разговаривала. Верила, что души всех людей переселяются в цветы. А иначе быть не может, потому что они кивают ей, а это значит, что слушают и отвечают. Но у кого-то поднялась рука. Взяли и убили души. Баба Вера разболелась. Даже с Захаром не разговаривала. Мимо идёт и не замечает. Смотрит на него, а не видит. Окликнут — она не слышит. Одна-одинёшенька осталась в своём мирке — в этом самом одиночестве.

Захар смотрел на неё, о чём-то думая, а потом стал пропадать по выходным. Уезжал. А куда — никому не говорил. Да и поделиться не с кем было. Ни жены, ни друзей. Он тоже жил в своём мирке, как и баба Вера. Вокруг столько людей, а он остался одиноким. Поэтому чувствовал в бабе Vere родственную душу.

Но один раз, поздним вечером, когда все разошлись, а ручеек из людей-живчиков стал потише журчать по двору, Захар появился возле клумбы, держа в руках тонкую небольшую берёзку. Присел на лавку. Закурил. Потом убрал мусор из разорённого садика. Взял саженец и невольно взглянул на крышу, где когда-то росла его берёзка — берёзка детства, которую вырвали с корнем, за которой он ухаживал, возле которой он сидел и мечтал. И сейчас в его руках было такое же тонкое и светлое деревце, как из его прошлого. Выкопал ямку. Посадил и полил берёзку. И показалось, что она качнула ветками, словно заговорила с ним. Захар опять сунулся в карман. Долго шарил, потом достал тряпицу, в которой было небольшое семечко. Он долгое время ездил по округе, разыскивая такие же семена, как у бабы Веры. Хотел для неё посадить, но семена не попадались. А многие продавцы крутили пальцами возле виска, мол, смотрите, дурачок объявился. Нормальные люди хорошие цветы сажают, а этот ищет семена полевого разноцветья, да не простого, а чтобы цветы говорить умели. И опять крутили пальцами. Дурачок, что ещё скажешь! Но однажды его остановила старушка, которая продавала на рынке всякую всячину. Остановила, а потом протянула тряпочку, на которой лежало всего лишь одно-единственное семя, и сказала, что это душа. Если её посадить на месте вырванных и ухаживать, тогда появится цветок, каких свет не видывал, потому что в него поселятся души людские. И проговорила, словно мысли бабы Веры прочитала, что цветы — это души людей. Отдала семечко и денег не взяла. Сказала, что это не покупается и не продаётся, а свыше даётся. Вернувшись, Захар посадил тонкую берёзку, рядом с ней закопал в землю вырванные цветы — убитые души людские, как старушка посоветовала, а поверх положил семечко. Присыпал землёй и плеснул воды. Покурил, посматривая на садик, потом отправился спать.

А под утро Захар проснулся. Показалось, что за окном необычный отсвет появился. Долго смотрел на стену, по которой пробегали яркие всполохи, потом не выдержал. Поднялся. Подошёл к окну. Распахнул. Выглянул и мотнул головой, не веря глазам своим. На пустом клочке земли, где он поздно вечером посадил семечко и небольшой саженец берёзки, там был отблеск. Даже не отблеск, а свет пульсировал, будто сердце бьётся: удар, пауза, снова удар и опять пауза...

Захар не удержался. Одежда и заторопился по лестнице. Подошёл к клумбе и увидел, что возле тонкой берёзки расцвёл необычный цветок с множеством лепестков, похожих на сердечки, как привыкли их рисовать. Лепестки переливались словно живые. Пульсировали: удар, пауза, удар, пауза. И так непрерывно. И с каждым ударом на цветке появлялся новый лепесток, и непрерывно менялся цвет, словно радуга играла.

Захар присел на лавку, что была рядом с садиком, наблюдая за необычным цветком. Не услышал, как подошла баба Вера. Рядом присела и что-то прошептала, а потом надолго замолчала, внимательно прислушиваясь, на цветок смотрела, потом на Захара, снова на клумбу и медленно перекрестилась.

— Слава тебе, Господи, услышал мою просьбу, — сказала баба Вера. — Они вернулись, а я уж опасалась, что... — и замолчала, продолжая смотреть на цветок.

— Кто вернулся? — не поворачиваясь, сказал Захар.

— Души людские, — соседка ткнула пальцем.

И, раскачиваясь, стала о чём-то шептать, будто с цветком беседовала, прислушивалась и снова шептала. Долго разговаривала с ними, а потом взглянула на Захара, который сидел, задумавшись, и замолчала. Мимо них торопились прохожие. Одни шли по двору, не обращая внимания на клумбу. Шагали, посматривая под ноги, и ни одного взгляда в сторону. А некоторые с любопытством глядели на необычный цветок. Они рады бы остановиться, но сзади подталкивали, и прохожие торопились по своим делам, а Захар и баба Вера сидели вдвоём на скамейке и молчали. Они были разные, но в то же время похожие друг на друга — эти два одиночества в огромном мире. Над головами занимался рассвет нового дня, мимо журчал ручеек из прохожих-живчиков, а перед ними разноцветьем полыхал живой цветок. Удар, пауза — новый лепесток, удар, пауза — ещё одна душа... Это души людские возвращались.